

... Он кажется героем такой чистоты, что преступления будто бы не было.

Раскольников – сгусток больной совести, сострадания, желания помогать: неужели обладающий такими качествами человек возьмётся за топор, воплощая выморочную идею...

...этак всякий пойдёт старушек лущить: человек и развился, когда перестал использовать физическое устранение неприятных ему других и стал пользоваться возможностями слова...

Впрочем, нет – убивали, убиваем и будем убивать, так устроены: не мешай, моя территория...

Но Раскольников убивает не из-за территории, едва ли процентщица так уж мешает ему: он ставит экзистенциальный эксперимент над собой, над внутренним своим составом – выдержит ли...

Не выдержал.

Ахматова говорила, что Достоевский не знал всей правды, полагая, что убьёшь старушку, и будешь мучиться всю жизнь; он не предполагал, что утром можно расстрелять пятнадцать человек, а вечером выбранный жену за некрасивую причёску...

Может, предполагал?

Ведь нарисовал же бесов, пользуясь красками гротеска, вообще излюбленными им.

Не только ими: красками правды, предчувствия, постижения реальности и человека в ней...

Раскольников верует буквально: то есть не очень глубоко; Достоевский, используя формулу «...до тех пор, пока человек не переменится физически», предполагал, что такое возможно: значит, видел сквозь плотные слои материальности.

Как видел творящееся в недрах человеческих душ: а там закипает столько всего, что не захочешь, а напьёшься...

И пьют у Достоевского, пьют многие; недаром черновое название «Преступления и наказания» – «Пьяненькие».

Пьяненькие, жалкие, вбитые в нищету...

Она хрипит старухой: скученность больших домов противоречит жизни, и опять Мармеладов развивает теорию бессмысленности прожить в долг...

А...кто это выходит на сцену?

Крепкий, щекастый, разумеется, Фердыщенко, заставляющий усомниться в том, что воспоминания – ценность.

Ведь ежели хороши, их хочется повторить, когда худые – забыть, отказаться...

Из жизни не вычеркнешь ничего – как из черновика: замечали?

Невозможность отступления увеличивает безнадёжность.

Мышкин проявится, но не в его силах будет изменить мир, оставшийся и после Христа таким же, как был: с насилием государств, войнами, тотальным неравенством, смертью, болезнями...

Люди не говорят, как у Достоевского: тем не менее его людей хочется слушать.

Они сбивают речевые пласты наползающими друг на друга структурами, захлёбываясь, спеша...

Всё спешит, всё несётся, мелькает калейдоскоп разнообразнейших персонажей; Карамазовы – это будто один, расчленённый человек, и Иван уравнивает мыслью сладострастие отца, который будет убит смердом, смердящим...

Нет людей хороших.

Нет плохих.

Снег падает на городские задворки; всякий человек – и белоснежен внутри, и грязен, как неприглядные задворки эти; Достоевский, показывая человеческое разнообразие, призывал быть терпимее друг к другу, добрее; всегда проводя через мрачные коридоры к астральному свету: надо только почувствовать...

## 2

Сундук, на котором ребёнком спал Достоевский, можно увидеть в музее, располагающемся рядом с больницей, во дворе которой стоит странный, сильный памятник: писатель, словно разбуженный выстрелом... или выдирающийся из лент небытия к сияющему простору мистического космоса.

Не от утlosti ли того пристанища, где пришлось спать ребёнку – банька с пауками? Потусторонняя тоска Свидригайлова, который уедет в Америку на энергии выстрела?

Страшные колодцы петербургских дворов, в Москве таких нету: недаром Достоевский именовал Петербург самым умышленным городом на свете, когда Москва обладала естественностью прорастания в явь.

Москва пьяновата и пестровата.

Петербург холоден и строг.

Вам жалко Макара Девушкина?

Ведь он жалок...

А вы сами?

Жалкое – вместе растерянное, детское есть в каждом.

И впрямь: мало живущий, ничего не знающий ни о Боге, ни о том свете человек таков, что его не может не быть жалко.

Но Достоевский провидел тайный свет, и постоянное стремление к оному – важнее даже огромной языковой работы, проделанной классиком.

Смертное манит, запредельное влечёт; Кириллов, строящий теории самоубийства, больше вызывает сострадание, чем...

Провинциальная дыра становится вместилищем кошмаров, принимая в себе бесов.

В революции, кроме крови и жертв, Достоевский не видел ничего; и, ожидая кошмарных перспектив, не предполагал общечеловеческого прорыва к свету.

...который знал как мистическую основу бытия; свет, определяющий жизнь, влекущий, манящий...

Суть Достоевского – свет: дорога к оному, прохождение сквозь лабиринты, ради обретения световой гармонии.

Бытует мнение о хаотичности языка классика: это так и нет.

Действительно, Достоевский с неистовостью – точно текст летит над земными препонами – сбивает пласты разных речений: канцеляризмы, жаргон, тут захлест всего, мешанина, но – именно такой язык и нужен для построения лабиринта, ведущего к световым просторам, столь редко встречающимся в жизни.

Если бы было иначе, не вышло бы эффекта, и речь на могиле Илюшеньки не прозвучала бы такой чистотой и болью.

Раскольников кажется чистым настолько, что убийство невозможно: будто это развернулись фантазии его.

Но нет – дребезжат детали, громоздится мерзкий быт, выглядывает из щели двери отвратная старушонка.

Мерзкого много, провинциального много, церковных долдонов много.

Страха, страсти.

Мышкину не найдётся места – как не сложится условий для второго пришествия, как невозможно представить условия посмертного бытования.

Достоевский кажется всеобщим братом и всем другом.

И мерцает слезинка ребёнка – вечным предупреждением.

Слезинка ребёнка мерцает предупреждением, не услышанным миром.

Не увиденным.

В своей огромности и вечном захлесте страстей мир сносит подобные мелочи – которые так велики сущностью.

В недрах себя каждый согласится с Достоевским, но внешнее организовывается сложно – боль и насилие продолжают созидать мир.

Книги не меняют его.

Но и без книг совсем захлебнулся в несправедливости и прагматизме.

Шаржированный Тургенев, представленный Кармазиновым, другим – с точки зрения Достоевского – быть не мог: тут противопоставление двух противоположных форм творчества: бурление, поток, истовость Достоевского и ориентация на конкретный шедевр у Тургенева.

Слишком разные: и уважительное друг к другу отношение в жизни будто бы ничего не значило.

...бесы клубятся в провинциальной дыре: надо же откуда-то начинать.

К ним не относится Кириллов, как-то криво втянутый (или почти) в их компанию.

Теоретик самоубийства, так глубоко погружённый в себя, что действительность вторична.

Сумрачный колорит: не мог быть другим – вот появляется Шигалёв, глядящий мрачно, рисующий панорамы грядущего мира, даже не тиранического, а дьявольски искажённого...

Революционеры спародированы?

Нет, методы их слишком претили Достоевскому, не верившему в подобные возможности переустройства общества, думавшему, что слезинка ребёнка...

А мир может меняться только через кровь – как ни ужасно это: назовите хоть одно человеческое значительное свершение, обошедшее без оной...

Мир, меняющийся через кровь, не устраивает классика, заваривающего крутую провинциальную драму.

Пока провинциальную: она выплеснется в глобальный масштаб, исказив всю действительность, меняя её, поднимая одних, низвергая других, ломая души, и...

Всё смешивается в алхимическом огромном сосуде классика, где впервые появляются очевидно плохие, почти без оттенков: Верховенский и проч...

Зеркало должно быть огромно, чтобы отразить душу народа; оно будет неровно – и выпукло тою болью, что живёт в ней, и сиять, как сияет свет затаённой надежды.

Суммарный свод книг Достоевского, отшлифованный временем, превращается именно в такое сверкающее зеркало.

...ибо кристалл души Раскольникова чист, как у ребёнка; ибо фантом его зловещей фантазии, выданной за интеллектуальное построение, точно проносится мимо: хотя убийство было, этого невозможно отрицать; но накал муки – проедающая сущность героя совесть – так высок, а страдания в заключении столь серьёзны, что и содеянное растворяется в них.

...ибо нового Христа не ждёт реальность, о чём знает прекрасно русифицированный великий инквизитор, но Мышкин, возвращающийся из Швейцарии, всё же хочет проверить возможность родной земли принять новое проявление пророка.

...ибо Карамазовы – точно... не амбивалентность даже, а «расчетверённость» души русской, где Алёша – световой полюс, Иван – интеллектуальный вектор, причудливо изгибающийся, раз не выдерживает умственного напряжения, Митя – ярость страсти и лютый порыв щедрого сердца, а Фёдор – тьма земного пути; сложный суммарный портрет русского бытия ложится отражением в пласт гигантского зеркала, нечто проясняя, ещё больше запутывая многое...

...ибо бесы всегда или часто рядятся в одежды всеобщего благополучия, ни в грош не ставя чужую кровь, не желая проливать свою.

Но – даже и Макар Девушкин: жалкий, крошечный, смешной человек, есть писк униженного русского естества; тщетный звук мечты о корочке счастья.

...ибо Сонечка Мармеладова найдёт ядовитую сласть в поправление собственного «я» ради жизни близких; а сотворить чудо ради них может каждый.

И все загнутые сложно, с заплесневелыми стенами лабиринты, письма правды проступают на каких, сквозь мутные потёки времени выводят к свету: в этом суть.

Речь на могиле Илюшеньки прожигает сгустками душевных, высших лучей смертный, свинцовый морок яви.

Мышкин оставляет след в живущих – и светится он, призывая к правде.

Даже Фердыщенко, предложивший салонную, пустую игру, подразумевал звенящие струны совести.

...как не современно всё!

Как противоречит технологической, прагматизмом скрученной целесообразностью напитанной яви.

И – как мощно, верно работает зеркало, отражая прошлое, созидая грядущее.

## 8

Двойник, Петербург, тёмные лестницы, богатые квартиры, где гуляют праздники, требующие великолепного масла великого художника; Белинский, оставшийся недовольным повестью...

Естественно – её абсурдные изломы, равно как и снежные ночи, где один персонаж встречает другого – себя самого – были далеки от того разлива реализма, который критик ожидал от молодого тогда писателя.

Титулярный советник!

Сколько их проявилось на русских страницах!

Мелкие и смешные, неудачливые и затерянные в толпе, чудаковатые и несчастные: они представляли собой пёстрые калейдоскопы тогдашних людей; и Яков Петрович не являлся исключением.

Вот он бестолково топчется целый день по делам, сидит у доктора, то отказывается принимать лечение, то соглашается на лекарства; потом бессмысленно перемещается по городу: этому умышленному городу с его архитектурными ущельями...

Впрочем, почему бессмысленно: смысл в том, чтобы встретить себя самого: Якова Петровича Голядкина, свою худшую часть, которая постепенно возобладает.

Однако и хорошая-то не очень хороша: тут даже не маленький человек: а козявка какая-то...

Очень реальная козявка, не отступающая от реалистических правил изображения действительности.

Всё серо-чёрное, мчащееся куда-то; вяло бормочущий двойник, постепенно забирающий жизнь основного персонажа...

В каждом из нас живёт такой – и тут уж ничего не попишешь.

Однако зафиксированного словесно не отменишь, и бегут Яковы Петровичи Голядкины, соревнуясь, бегут, опережая друг друга, не зная, кто победит.

## 9

Щекаст, но едва ли розовощёк – он выходит на сцену, хотя стоит сбоку, теребя края малинового занавеса...

Он совсем не оптимистичен и заранее просит денег в долг ему не давать; да и фамилия его – Фердыщенко – топорщится нелепо.

Он введён как функция, хотя и выглядит как человек: его миссия: разбередить в вас худое, заставить его показаться, проявиться на свету, дабы стыд прожёл кислотой сознание...

Что такое покаяние?

О! это вовсе не разбивание лба об церковный пол с последующим повторением всех жизненных гадостей, на какие только вы способны.

Покаяние – это осмысление плохого: с тем, чтобы не повторялось оно, отпустило из плена.

И вот тут необходим метафизический Фердыщенко, который обязательно выйдет на сцену, ежели у вас совсем не атрофирована совесть.

Да, разумеется, можно вспомнить многочисленные истории маугли – не того, романтизированного Киплингом мальчика, но подлинных – сотню, или две – росших среди зверей и не имевших представления о совести; но ведь заложена она в нас, впечатана во внутренний состав, только толчки нужны, чтобы проснулась...

Если становится меньше и меньше таких воспитательных толчков, люди деформируются, расчеловечиваясь.

Что и наблюдаем сегодня.

Так что не хватает Фердыщенко: и помощнее чтобы был, настойчивей требовал исцеляющих воспоминаний...

## 10

Страшно быть смешным, саднящее постоянное нечто разъедает душу, и сам себя таким считаешь: смешным, нелепым...

Сколько таковых вписано в жизнь: ратоборствовать с реальностью сил не дали, и доказывать ей, что ты не такой – не получится...

Узел закрутится туго, как на любой странице Достоевского: смертельно затосковавший смешной человек, окончательно решивший убить себя, отогнал криком девочку, подбежавшую к нему на улице с бедою своею, аж тёкшей из глаз; и пришедшего домой к себе, в пятый этаж, сильно заела совесть смешного...

Мол, тут уже не смешной выходит, а подлый.

Подлый-подлый, весь коричневый внутри, бурый, а бурый – цвет греха.

Выстрел отдалился, настал сон, появилась совсем другая жизнь.

Вот и сознание после смерти, оказывается, живёт: несётся себе среди пространств, пока не начинает гореть солнце и не открывается солнечный мир: почти, как наш, только лишённый всего земного негатива: о! сколько его ныне – в геометрической прогрессии вырос, вот бы поразился смешной-то...

И вот затесавшийся в другую жизнь – без права на это – смешной человек сеет среди идеального своё – негожее, и сеет... как-то сам не желая того: просто ведь не таков, как они, не знающие зла...

А просыпается – с изменившимся лицом и с чётким осознанием, что лучше сеять любовь среди несовершенного мира, чем наоборот...

Суть тут – в изменившемся лице, в осознании, которое делает лицо таковым; а ещё, верно, в том, что надо побыть подлинно смешным – для других – чтобы дорасти до откровения любви.

Александр Львович Балтин  
*Москва*